АЗБУКА ВЕРЫ

Никифоров–Волгин Василий А.

Дорожный посох — Никифоров-Волгин В.А.

Православная художественная литература 2017

Дорожный посох — Никифоров-Волгин В.А.

Никифоров–Волгин Василий А.

Творчество В. А. Никифорова-Волгина (1901—1941) современному читателю почти неизвестно. Его произведения занимают свое, определенное место в литературе русского зарубежья. Глубоко верующий, В.А.Никифоров-Волгин сосредоточился на теме судьбы Русской православной церкви. От лица православного священника написана повесть «Дорожный посох».

Сборник

- Дорожный посох (повесть)
- ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
- ВТОРАЯ ЧАСТЬ
- ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
- Пушкин и митрополит Филарет (рассказ)

Дорожный посох

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что–то грозное на нашу землю. В чем оно выразится — не может вообразить душа моя, она скорбит только смертельно!
…Я примечаю, что временами темнеют иконы. Запрестольный образ Христа неведомо отчего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно… Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не примечаемый шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары да разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении в страхе бегущим по диким ночным полям со Святыми Дарами в руках, а за мною гнались с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах.
За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть! Так вот и чудится, что все мы на росстани–пути стоим и скоро не увидим друг друга.
А может быть, все это беспокойство — моя болезненная мнительность?
Дал бы, Господи!..
Хотя… сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал.

* * *

Навечерие Богоявления Господня. Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни. Замутились от скверны реки Божии…
Завтра начну свою проповедь словами: «Мир как бы книга из двух листов. Один лист — небо, а другой — земля. И все вещи в мире суть буквы». Осквернили мы великую книгу Божию…
По народным сказаниям сегодня ночью на речные и озерные воды сойдет с неба Дух Божий и

освятит воду и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полунощной водой, креститься будут на нее, а завтра, после обедни, зелено вино в ратоборство со святою водою вступит… Много греха всякого будет…
Господи! Избави землю Твою от глубокия нощи!..

* * *

При пении «Глас Господень на водах» мы пошли крестным ходом на Иордань. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет! Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы освятили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее как причастие!
Когда возвращались обратно, то началась метель. Что–то древнее, особенно русское было в нашем заметеленном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви. На иконы падал снег. Все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение!.. Так хорошо… и особенно трогал желтый огонек несомого впереди фонаря…
До самого позднего вечера я ходил по избам «со славою» и освящал паству свою богоявленской во–дою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийство?
Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на крыльцо. Метель вошла в полную свою силу. Тревожно было слушать завывы ее.
— Не попусти, Господи, очутиться кому–либо в поле или на лесных дорогах!..
Звонари наши загуляли. Пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся…
Звонил долго и окоченел весь. Перед тем как сойти с колокольни, долго смотрел на метель… Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю?

* * *

Доктор качал головою: да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашими–то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня. Сказывали, что смерть у изголовья стояла, но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную…
Когда здоров священник и горя он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ: насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет, но заболей священник — народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему… Одинокий он, русский человек, и только священник еще «отцом» ему является… Хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстанным… Вот и со мною тоже: когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко — плакали навзрыд, молились, руки мои целовали.

* * *

Весь мир для меня стал теперь теремом Божиим. Все хорошо. Все разумно. Все светло. Вот что значит болезнь! На стол упало солнышко. Я положил на него руки и очень радовался — жизнь жительствует!
В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи вприпрыжку. Ах уж эти воробьи! Хорошие они птицы! Радуют и умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседовольностью! Хороша земля Божия. Скоро весна наступит и, по образному выражению народа нашего, зачнет она милому рубашки вышивать разными–то цветами, травами, узорчатыми листами. Приневестит она землю в новую вышитую рубашку. Будет земля в новой рубашке ходить!
Диакон Захарий меня под руки поддерживает, и вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра болезни восстал! Смотрю в широкое усветленное лицо его и думаю: вот бы и всегда так ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь… этак тихо, из самой глубины сердечной…

Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал и загрустил: как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя!.. Она бы сегодня меня под руку поддерживала… Оба мы с нею мечтатели, и обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьевы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность, наше невесто–неневестное.
Да, не может человек носить в себе полную незамутимую радость!

* * *

Великий пост. Таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике: разрешать грехи человеческие! На многих и многих необходимо по святым правилам нашей церкви наложить тяжкую епитимию, но не могу я! Нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека.
Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния! Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: «Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг, и стыждуся».
Побежали ручьи. После великого повечерия я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках! Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле.
…А леса–то наши вырубают! Кругом села такие были заповедники, такая чащоба, сколько птиц и зверей было, а теперь пустыри… Примечаю я: чем больше природы уничтожается, тем хуже на земле становится и лик человека утрачивает свою ясность.
Над природой человек озоровать стал! Так и норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверя и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека… Не произошла бы от этого великая скорбь!

* * *

В кануны Страстной седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что–то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему–то ее приуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазнам она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: на огонек к вам пришел! Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседовать с ними… Любо глядеть на лица крестьян, при скудном свете керосиновой лампы слушающих слова Божии!
Одинок русский человек, очень одинок! Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы–печальники… Без них некуда деваться беспокойной душе нашей!.. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех?

* * *

На Страстной неделе деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы и уступчивы. Даже озорники и отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю: не отречется от Христа народ русский! Пойдет к Нему, все Ему расскажет, покается и сядет у ног Его…
Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки. Сумерки предпасхалья. Ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова: «Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре». Никогда такой близкой не кажется русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках, при ветре. За последнее время она особенно почему–то ненаглядна, словно уйти куда–то хочет от меня…

* * *

Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю: отчего грустно мне в эту спасительную и светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на росстани–пути стоим и скоро

не увидимся друг с другом.
Троекратным лобызаньем целовал в уста пасомых своих, и хотелось плакать. Особенно грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам с узелками освященных куличей, светло, по–Христову, улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются и никогда больше не придут сюда, на радостную Христову вечерю.
А может быть, и впрямь у меня что–то болезненное?.. Дал бы, Господи!

* * *

Солнце заливает землю. Яблони в полном цветении. Глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто–то очень хорошо сравнил двенадцать месяцев года с двенадцатью учениками Христа. Май месяц — это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик.
Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. На мое плечо и на страницы книги падают лепестки яблонь. И так кстати открылись мне слова псалмопевца о солнце:
«Небеса поведуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь… Он поставил в них жилище солнцу… от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его».
От этих слов или от вешней красоты я не мог не перекреститься и не воскликнуть:
— Господи! Да приидет Царствие Твое!
— Вот бы скорбь людскую изжить! Радость на земле насадить! Жития безмятежного достигнуть!

* * *

Лето стоит знойное. Во многих местах горят леса. Солнце застилается дымом. Свет стоит тревожный, словно апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии.
Ползают темные приглушенные слухи…
Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля:
— К беде это, батюшка!
Деревенский дурачок Сема ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню:
Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной,
Иль мою погибель чуешь,
Да э–эх!..
Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом: Э–эх!..
Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле — послушать, гудит ли она?
А может быть, это мое сердце гудело?

* * *

Я проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю… Я встал с постели и никак не мог успокоиться.
Горница моя озарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила:
— Неужто Он не слышит?
Среди ночи я побежал в церковь. В алтаре затеплил семисвечник и до самого утра простоял перед престолом. Мне стало легче.

* * *

Объявлена война.

* * *

По всей Руси панихиды служат. Помянники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я раздал осиротевшим. Смотрю сейчас на

прохладную пустоту своих комнат и думаю: нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано: если кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже не свободен.
Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут беженцы из военной полосы. Поселю их у себя, а сам в бане притулюсь.
Очень остался доволен самим собою, но потом стыдно стало: несовершенные и себялюбивые мы натуры! Не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою! Далеко еще нам до совершенного, светоподательного подвига!

* * *

Банька у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимою тепло в ней будет. Затеплил лампаду, и стало так утешно, словно Сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке.
Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал: хорошо жить под низкими потолками! Тишины на сердце больше!..
Да, опять я доволен, опять самообольщаюсь, опять впадаю в «духовную прелесть». Мало над собою работаю.

* * *

Земля волнуется. Народ тревожится. Вокруг меня горя — непочатый край. Жмутся ко мне люди. Утешения ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе большое носят. «Вси в житии крест, яко ярем вземшии». Посмотришь на них, сказать что–то хочешь в утешение, но вместо слов опустишь голову и молчишь…
Большое горе стряслось над нами, но сердце накликает еще что–то грозное и страшное.
К каким же еще испытаниям ведешь Ты, Господи, народ русский?

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

…Наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать, парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма икону Владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов.
Я хожу из избы в избу. Утешаю, увещеваю, молюсь. Поздно вечером меня подкараулили, напали и тяжко избили. Три дня не выходил на улицу. Весь в повязках лежал.

* * *

…Голод. С превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал теперь ржаным — почернело тело Христово…
Служил сегодня литургию. Церковь была переполнена голодными. Матери принесли на руках голодных детей и не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол, под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер четырехлетний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом — так были слабы.
Я причащал голодных детей и еле сдерживал в руке чашу Христову… Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Диакон с жадностью смотрел на служебные просфоры. Детям давали по кусочку просфоры. Они проглатывали его и тянули ручонки за другим: «Дай хлебушка, батюшка, дай ради Христа!»
Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на эти опухшие от голода лица, на голодных детушек, положенных матерями под иконы небесных заступников, и на этого мерт–венького младенца, лежащего на скамейке, — не выдержал я, заплакал, упал перед народом на колени и ничего сказать не мог! Мы только плакали и кричали что есть сил: Господи, спаси! Матерь Божия, заступи!

* * *

В ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш храм.
Мне Господь помог невредженно пройти через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс, Запасные Дары и несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти. Она была объята пламенем.
Друзья мои упреждают: «Беги, батюшка, от греха! Убить тебя хотят!» Я никуда не убегу. Господь защититель живота моего, да не убоюся! Сейчас размышляю: где бы разложить священный антиминс и начать совершение Святых Христовых Таин?

* * *

В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в дом Божий.
Пасомые мои принесли сюда иконы, лампады повесили. Из свежего лесного теса сделали иконостас, престол и жертвенник. Сшили мне из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную чашу и даже вырезал на ней по–славянски слова: «Чашу спасения прииму, и имя Господне призову».
Идет народ, идет за многие десятки верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает. Стоят под небом. До поздней ночи я исповедую их, беседую с ними и утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются. Вот остановились. Комом снега в окно запустили.
А меня все время упреждают: Беги, батя, покуда жив! Злобятся на тебя. Врагом народа объявляют.
Будь что будет.

* * *

Мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс.

* * *

Пришли ко мне в метельную ночь.
— Сряжайся, батя, поскорее! Едем!
Я им в ответ:
— Не поеду, други! Совесть пастырская не дозволяет!
Тут уж они силою заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, а только понукали. Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, дарохранительницу и Евангелие.
Усадили меня в деревенский возок и тронули.

* * *

Поселили меня в маленьком речном городке в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу.
Сидим мы с Саввой Григорьевичем «на липках» и беседуем на тихие душевные думы, а по вечерам Священное Писание читаем и молимся. Истовый и светлодушный он старик, от смолевых древнерусских истоков! Жизнью своею словно икону Спасителя пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему сродственники и хорошие благочестные люди. В задней боковуше, окном на пустырь, совершаем богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения, приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство великим уничижениям и гонениям подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище. Во время литургии у одного из священномучеников вырвали из рук чашу и расплескали по полу Кровь Христову, а священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии священноиерея Димитрия штыками ослепили.

* * *

Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха. Вся в слезах.
— Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника! Убили его!
— Где же почивший? — спрашиваю.
— Там, батюшка, у них… В народном доме лежит. Тебя туда не допустят. По–гражданскиего хоронят, с музыкой и песнями… Он ведь комиссаром состоял…
— Как же я отпевать стану?
— Отпой его, голубчик, заочно… у себя в боковуше! Дай душе его благословение…
Плачет старуха, Христом Богом молит. Стал отпевать.
…Мимо окон везут мертвого комиссара с музыкой, а я читаю ему вслед: «…в вечных Твоих селениях упокой душу усопшего раба Твоего в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже обеже болезнь, печаль и воздыхание…»

* * *
Стал я заправским сапожником. Пошли у нас дела с Саввой Григорьевичем складно да ладно.
«Ночная паства» моя росла, и в боковуше становилось тесно.
В городе не прекращаются расстрелы…
Однажды ночью к нам постучали. Открыли. Входит комиссар Ахтыров. Обращается ко мне:
— Пойдем со мною, батюшка!
Я приготовился к смерти.
Савва Григорьевич белее снега стал. Комиссар успокаивает:
Не бойтесь, отцы! Я затем пришел, чтобы батюшка сына моего окрестил в потайности… а то он не выживет!..

* * *
Сегодня было у нас совещание. Мы решили из боковуши перебраться в лес (а леса здесь хорошие, затаенные, с глубокими чащобами). Недавно одному из наших посчастливилось найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к этому месту. До самого рассвета приводили ее в благолепный вид. Тайком принесли сюда иконы. Будущая церковь наша сокрыта черными вековыми елями — лучшего места не найти! Условились мы ходить на молитву разными путями и в одиночку, памятуя слова Христа: «блюдите, како опасно ходите».

* * *
Первая молитва в лесной пещерной церкви!.. Свечей у нас не было. Горела лучина. После «Хвалите» я запел величание преподобному Сергию, ибо только он вспомнился при горящих лучинах! Всем народом мы пели: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче Сергие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов». По самую заночь я принимал исповедь собравшихся…
После ночной молитвы я долго гулял по лесу. Издали послышался нутряной смертный крик и вслед за ним несколько ружейных залпов… Я присел на поваленном дереве.
Как малое дитя, спрашивал душу свою: почему так страшен человек? Разве нельзя жить без этих ночных криков и выстрелов?
Шума тревоги больше не слышу. Тихо стало и притаенно. Иконы стали светлыми. Сказывают, купола на многих церквах обновляются! К чему сие? Что значит этот Господень знак?

* * *
Наступил рождественский сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось… Все мы сегодня, как встарь, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш» и во всех домах затеплим лампады…
Но недолго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платьице, простоволосую. Седого сгорбленного директора подгоняли ружейными прикладами.

Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях.
Сердце мое заметалось. Я вскрикнул и упал.
…Очнулся я к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство.
— Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен! Что это с тобою произошло?
Я ничего не сказал. Помолился, попил святой воды, частицу артоса вкусил и стал совсем здоровым.

* * *

В ночь на третье января к нам постучали.
— Беда, батюшка! — воскликнули вошедшие. — Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное: хотят чудотворную икону Божией Матери на площадь вынести и там расстрелять!
Рассказывают и плачут.
Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю:
— Сколько вас тут человек?
— Пятеро!
— Так… Ничего не боитесь?
— На какую угодно муку пойдем! — отвечают гулом.
— Так слушайте же меня, чадца моя! — говорю им шепотом. — Чудотворную икону мы должны спасти! Не отдадим ее на поругание!
Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и молоток. Пе-рекрестились мы и пошли…
На наше счастье, Владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке. Я вдоль заборов пробираюсь. Наши уже в соборной ограде. Тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись. Перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотом звякнул — замок распался. Прислушались. Только снег да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор. Из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери. Положили ее в сани, прикрыли соломой и, благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине. Никого не повстречали. Снег заметал наши следы.
К пещере несли Ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал:
Не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места, во дни татарского нашествия на Русь?

* * *

В городе слух пошел о чуде — Владычица покинула собор! Да, воистину чудо! Ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю святыню русскую.
Около собора днем и ночью толпится народ. Его разгоняют ружейными залпами. Народ ощеривается и выходит из себя.
Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная. Народ с криком набрасывался на кощунников, вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили:
— Ра-а-с-хо-дись, а то сейчас бабахнем!
Когда в соборе все было очищено, то там устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что чаша Господня, наполненная водкой, обносилась «вкруговую». Молодежь волочила по улицам иконы и распевала:
Эх, играй, моя двухрядка,
Против Бога и попов.
На пустыре Савва Григорьевич нашел икону преподобного Серафима Саровского,

изрешеченную пулями.

* * *

Много горьких дорог прошло с того времени, когда мне вновь удалось найти свои записи и склониться над ними.

…Недолго пришлось нам собираться в подземной церкви. Нас выследили. На Крестопоклонной неделе, во время выноса креста, пред нами предстали о н и …

Два рослых, дурно пахнувших солдата с заломленными на затылок папахами, с неумолимыми дикими руками тяжело подошли ко мне и связали меня веревками. Мне не дали снять с себя ризы — так и повели в полном священническом облачении. Паству мою, по счастью, не тронули, и она сопровождала меня со слезами и стенаниями. Пробовали защитить меня, но им угрожали ручными гранатами. Меня тревожила мысль: догадаются ли пасомые мои спасти чудотворную икону Богоматери? Тревога моя, видимо, передалась Савве Григорьевичу. Он издали, из темноты, крикнул мне:

— Не беспокойся!..

Легко мне стало, словно Бог возглаголал из лесной чащи.

В одном месте, на леденице, я поскользнулся и упал. Солдаты засмеялись, не помогли мне подняться, а схватились за край веревки и с песней «Эй, дубинушка, ухнем» волоком потащили меня по земле.

Я весь избился и окровянился. Потом они пожалели меня и подняли.

Поздно вечером привели к следователю. Я встал около письменного стала. Следователь писал и не смотрел на меня.

У него были сверкающие белые руки. Лицо румяное, молодое и как будто простодушное. Все обыкновенное, человеческое, если бы только не уши… Пепельно–лиловатые, широкие, они свисали наподобие тряпок, закрывая ушную раковину.

Прошло минут двадцать, но он все еще не поднимал на меня глаз. В кабинете, освещенном душным светом электрической лампочки без абажура, было тихо. Только два звука было слышно: сухое шуршание пера и влажное падение на паркетный пол кровяных капель с моих избитых о гололедицу рук.

Наконец следователь тихо положил перо, поднял румяную голову и осиял меня таким шелковым голубым взглядом, что я первое мгновение подумал: «Какие хорошие человеческие глаза!» Но, вглядевшись в них, я содрогнулся…

Минут пять смотрел на меня не мигая своей страшной, словно застеклившейся синевой.

Он перевел взгляд на мои окровавленные руки и улыбнулся стеклянной и, как мне представилось, синей улыбкой.

Тонкими, совершенной красоты пальцами он изредка отмахивал что–то от лица своего, словно садилась на него паутинная нить. Он заставлял сознаться меня в организации заговора против власти. Я с твердостью отрицал это и говорил: «Я молюсь за нее, чтобы она не проливала крови!» Очень долго допрашивал меня голосом хрустящим и словно костяным. Моим объяснениям не верил. Под конец допроса лицо его пошло пятнами. Совершенно неожиданно он ловким кошачьим прыжком соскочил с бархатного лилового кресла, подбежал ко мне, вцепился в мое горло белою льдистой рукою и закричал в исступлении слюнявым извивающимся хрипом:

— Сознавайся! Стерва! Убью!..

Он приставил к моему виску револьверное дуло. Голова моя горела нестерпимым жаром, и от прикосновения металлического холодка я ощутил приятность. Больше всего меня напугал впервые виденный мною звериный лик человека.

* * *

Меня отвели в темницу. Здесь сидели буйные люди. Встретили меня со свистом и улюлюканьем. Издевались над моими священническими ризами и плевали на них. Дали мне

место на полу, в затемке, рядом с лоханью для нужды. Пол был каменным и зловонным. Когда погасили свет и все полегли спать, я стал молиться. После молитвы подошел ко мне кто–то невидимый во тьме и сказал:
— Ложись на мои нары… там теплее, а я на твоем месте образуюсь!..
Радостно стало мне:
— И здесь Христос!..
В эту первую тюремную ночь я не мог скоро заснуть. Думал о предстоящих страданиях своих и не утаю: ужасался их и тосковал немало. Мне вспоминались муки, кои претерпели Христа ради соратники мои.
В Астрахани архиепископа Митрофана и его викария епископа Леонтия живьем закопали в землю; в Свияжске епископа Амвросия привязали к хвосту бешеной лошади; в Белграде–Курском епископа Никодима убивали железными прутьями, тело же его бросили в сорную яму; архиепископа Пермского Андроника ослепили, выколов глаза, отрезали щеки и в таком виде влачили его по городским улицам, а потом живьем закопали в землю…
Я сжимал в руке нательный крестильный крест и с гефсиманскою тоскою взывал к Нему:
— Господи! Научи мя оправданиям Твоим!..

* * *

В пищу давали сто грамм хлеба и суп из снитков или селедки. По два раза в день приносили нам по кружке воды. Тюремный хлеб я не ел даром: меня заставляли чистить отхожие места, мыть полы, стирать белье конвойных, и в этом я хорошо преуспевал.
С обитателями нашей темницы, ворами и убийцами, я крепко подружился. Они полюбили меня за тишину к ним, за беседы с ними, за уступчивость. И приметил я: чем глубже носишь в себе образ Христа и вооружаешься смирением, тем скорее осветишь звериный мир человека. Если и не сразу, то впоследствии все же осветится человек. Надо только жить рядом с ним, чтобы Христос, живущий в тебе, постоянно освещал омраченного. Человека за руку приходится водить, как ребенка–несмышленыша!..
На Страстной неделе соузники мои изъявили желание исповедоваться передо мною и в одну из ночей я принял их сокрушенную, отчаянно русскую исповедь… В знак раскаяния они целовали мой нательный крест.
В ночь на Светлое Христово Воскресение я облачился в изорванные свои ризы и пропел им всю пасхальную заутреню, а потом христосовались мы…
Пять месяцев я просидел в здешнем узилище. В самый день рождения моего (мне исполнилось пятьдесят два года) меня отправили железнодорожным путем в губернскую тюрьму.

* * *

Втолкнули меня в подвальную темноту и сырость. После солнечного света, на время осветившего меня по пути в тюрьму, я долго стоял на пороге, словно в ослеплении, ничего не видя. Ко мне кто–то подошел, назвал меня по имени и обнял. Глаза мои проясняться стали. Я увидел архиепископа Платона. Только по глазам да по тому неуловимому, что делает человека характерным, я узнал его. Величественный русский владыка превратился теперь в согбенного старца. Ряса была в дырьях, на ногах плохенькие сапожонки, седые волосы свалялись в колтун и, давно не мытые, напоминали горький ветхозаветный пепел.
Я поклонился ему в ноги.
Ко мне стали подходить из разных углов другие обитатели подвала.
Меня обнимал заросший волосами, землисто–бледный, похожий на тень, высокий человек в сутане.
— Ксендз Станислав Лабунский!
Крепко пожимал мне руки маленький, иссохший, похожий на философа Канта господин в сюртуке. Через одышку он назвал себя:
— Пастор Келлер!

Тихими стариковскими шагами приблизился давний духовник мой игумен Амвросий. Молча обнял меня и молча перекрестил.
Семинарским прозвищем моим («Пустынник антиохийский») встретил меня однокашник мой отец Михаил Аскольдов. Был когда-то осанистым, златовласым и осиянным каким-то — теперь старик передо мною стоял с трясущимся перемученным телом.

* * *

Великим поношениям подвергались мы…
Поздно вечером, а то и в полночь, в замке щелкал ключ.
Открывалась железная дверь, и на пороге появлялись они. Впереди товарищ Бронза. В лице и в коротких тяжелых руках этого человека действительно было что-то бронзовое. Высокий, широкий в кости, с напомаженной челкой на низком волосатом лбу, всегда в кожаной одежде… Рядом с ним два мускулистых китайца с беспросветными глазами, всегда потные и как бы лиловые от грязи, одетые в замусоленные липкие ватники.
— Одевайсь! — раздавался гнусавый голос Бронзы. Нас выводят из камеры. Темными переходами идем на широкий асфальтовый двор.
— Вста-а-а-ть к стенке!
От этого окрика мы чувствуем себя солдатами и стараемся выстраиваться по-военному.
Далеким озерным всплеском звучит тишина. Они вынимают из кобуры револьверы, нахмуренно осматривают их с разных сторон и… начинают в нас прицеливаться.
В течение минут трех направляют на нас револьверное дуло. Мы бледнеем и начинаем креститься. Насладившись нашими предсмертными чувствами, они милостиво машут нам револьвером.
— Репетиция окончена! Разойтись!
Такие репетиции устраивались раза два, а то и три в месяц.
Однажды нам пришлось испытать еще более дикое поношение.
Поздно вечером открывается дверь. Мы только что совершили всенощное бдение и, сидя на соломе, нашем ложе, тихо беседовали.
— Одевайсь!..
Нам вручили по железному заступу. Повели нас за тюремные стены. Пахло летней, напоенной солнцем травою. Запах давно невиданной травы особенно взволновал меня. «Земля Божия, земля Божия», — несколько раз повторял я вслух. Нас повели за город и заставили остановиться среди поля.
Мне вспомнилось детство, ночное… костер среди поля… всплеск большой рыбы в протекавшей мимо реке и серебристое ржание жеребенка.
— Ройте яму!.. — приказал нам Бронза, — душ… этак… на семь!..
— Вот и конец…
Игумен Амвросий с трудом работал заступом. Китаец толкнул его в спину, и он упал на камень, разбив себе подбородок. Седая борода его окрасилась кровью, и он как-то беспомощно улыбнулся… молчальной улыбкой. Яма была вырыта. Мы едва переводили дух от усталости, и всем нам очень хотелось поскорее отдохнуть.
— Ну-с… отдохните маленько… — сказал нам Бронза, закуривая папиросу, — а потом встаньте под рядовку затылками к яме!..
Мы стали готовиться к смерти. Мы целовались последним целованием и благословляли друг друга в дальнюю дорогу… В это время металлическим взвизгом рассмеялся пастор Келлер. Мы бросились к нему. Весь он был затуманен безумием… Мы обнимали его и утешали, а он царапал лицо свое длинными землистыми ногтями и кричал сквозь рыдающий хохот:
— Иерусалим! Иерусалим!
Он потерял сознание и упал. В это время подъехал к нам грузовик, нагруженный чем-то тяжелым и, как мне почудилось, страшным. Груз был покрыт влажным брезентом. Нам скомандовали:

— Разгрузить!
Мы сняли брезент. На грузовике лежали мертвые тела. Среди них мальчик лет десяти в матросском костюме с перебитым до мозга черепом.
Нас заставили хоронить их. Когда зарыли, то скомандовали:
— Стройся! По домам!
Бесчувственного пастора мы положили на грузовик.

* * *
Пастор Келлер скончался. За несколько минут до кончины Господь прояснил его разум. Он сказал последние свои слова на земле:
— Слава Богу за все!..
Тело его в течение недели оставалось невынесенным…
* * *
Проходили долгие дни нашего заключения. Однажды мы стали примечать, что вокруг нас нарастает тревога. Временами слышалась отдаленная пушечная стрельба. Мы осмелились как–то спросить у приносящего нам пищу простоватого и доброглазого парня: что происходит на свободе? Он шепнул нам: «Белые наступают!»
Пушечная пальба приближалась. За дверью нашей камеры все чаще и чаще раздавались нервные бегущие шаги. Они заставляли нас вздрагивать. Мы прижимались друг к другу. С наших уст не сходила молитва. Однажды приносящий пищу объявил нам шепотом:
— Готовьтесь сегодня к смерти…
По уходе его из камеры епископ Платон положил богослужебный начал: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков…»
Мы не сговаривались, что нам петь: всенощное бдение, молебен, но разом почувствовали, что нам следует отпевать себя. Мы запели последование погребения человек:
«Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни. Аллилуйя…»
Епископ Платон поминал о вечном упокоении наши имена:
«Еще молимся о упокоении душ усопших раб Божиих, и о еже проститися нам всякому прегрешению, вольному же и невольному…»
При пении прощального «Зряще мя безгласна» мы лобызались и крестили друг друга.
Был вечер. Земля вздрагивала от пушечных выстрелов.
В замке щелкнул ключ. Вошел Бронза в сопровождении китайцев. Не ожидая его приказания, мы стали собираться в дорогу…
…Расстреливали по очереди.
Первым упал епископ Платон, за ним ксендз, третьим отец Михаил. Он успел крикнуть:
— В руце Твои, Господи, предаю дух мой!..
Я стою с игуменом Амвросием. Он вполголоса читает слова исходной песни:
«Непроходимая врата тайно запечатствованная, благословенная Богородице Дево, приими моления наша и принеси Твоему Сыну и Богу, да спасет Тобою души наши».
Мне вспоминается сельская церковь. Вербное Воскресение. Иконостас украшен красными прутиками вербы. Я стою в очереди причастников. Мне всего девять лет. В белой рубашке я и в сапогах новых с желтыми ушками наружу… Медленно движется очередь причастников, и все они освещены весенним солнцем. Деревенские певцы поют: «Тело Христово приимите, источника бессмертнаго вкусите»…
Бронза свинцовой поступью подходит с наганом к игумену Амвросию.
— После этого причастника и я подойду к чаше… — туманится в моей голове. — Верую, Господи, и исповедую… — шепчут уста моя. Вся земля превращается в синее облако, и нет уж памяти ни о прошедшем, ни о настоящем… Тело мое как бы опадает, и вот… нет уж меня, облеченного в земляную плоть… Мне на мгновение представляется, что я стою около своего упавшего тела и смотрю на него, как на совлеченную одежду…
Меня выводит из этого состояния грохот бегущих солдатских ног и неистовый, смертью

охваченный крик:
— Белые вошли в город!
Нас не успели расстрелять.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Я иду по большой дороге. На мне полупальтишко, солдатские сапоги с подковками, барашковая шапка. За плечами две сумы. В одной Запасные Дары, Евангелие, деревянная чаша, служебник да требник, а в другой — сапожный инструмент. На груди у меня в особой ладонке антиминс. В руке березовый посох. Я стал священником–странником. Перед отступлением белых меня убеждали за границу бежать, но я отказался.
Ноги мои для ходьбы оказались легкими.
Дни стоят сентябрьские, теплые — бабье лето!
Я остановился на лесном взгорье. Внизу река, поле, даль и дороги. Сильна власть русских дорог! Если долго смотреть на них, то словно от земли уходишь и ничто мирское тебя не радует, душа возношения какого–то ищет… Не от созерцания ли дорог родилась в русском человеке тяга уйти? Все равно куда… в Брянские ли разбойничьи леса или навстречу синим монастырским куполам… только бы идти, постукивая дорожным посохом. Недаром и петь мы любим: «Ах, не одна–то во поле дороженька пролегала».
Земля вечерела. Надо покоя искать. Но куда Господь направит стопы моя?
Проходя вересковыми тропинками, увидал я бревенчатый дом.
— Не приютят ли меня?
Стучу посохом по окну. Никто не откликается. Выбежал откуда–то кот, сел на крыльцо и смотрит на меня. Он кольнул меня скорбным человеческим взглядом. Я погладил его, и он прижиматься ко мне стал и жалобно мяукать.
Еще раз постучал в окно, и опять неоткликаемая и, как мне показалось, неживая тишина. Я решился открыть дверь. Вхожу в избу. Озираюсь и вижу…
На полу лежит зеленый от зеленых сумерек мертвый человек в холщовой рубахе и солдатских шароварах, босый… На шее чернел медный крестьянский крестик. На волосатой голове кровь в сгустках. Рядом подсвечник с выпавшей свечою и железный шкворень. Я перекрестил усопшего, сходил к колодцу за водою, обмыл его, чин отпевания совершил… Неподалеку, в песчанике, яму вырыл, укутал тело холстиною и волоком вытащил из избы (какая тяга: мертвое человеческое тело — сырая земля!).
Я переночевал в сенях, на соломе. В ногах у меня кот лежал. Со зверем было повадно.
С восходными зорями я дальше пошел.

* * *

Над полями витает паутина — пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебрецой, словно морозная. И до чего это народ русский умилительный выдумщик! Ведь надумает же: Богородица прядет пряжу! И все это у него поэзия! И не какая–нибудь, а высокая, духоносная! Вспомнить лишь названия Богородичных икон, кои он приукрасил и увенчал: Неувядаемый Цвет, Взыскание погибших, Купина Неопалимая, Нечаянная Радость, Утоли моя печали, Всех скорбящих Радость… А какие слова, песни да присказки! Надо иметь невместимую душу, ширше облака (изъясняясь словами акафиста), упоенную и творящую душу, чтобы все это выразить… Великий он поэт!
…Спускаюсь под гору. Весь я в солнце. Иду и напеваю богородичный канон: «Отверзу уста моя…» И вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами. И воронье над ними. Трупы раздеты и разуты. Никого кругом — широкое в холмах да взгорьях поле. Я отпел убиенных. Посыпал их перстию: «Господня есть земля и исполнение…»
Долго поджидал у дороги людей, чтобы кликнуть их и упросить предать земле усопших. Но на дороге было пусто.

Иду я и ни единого жилья не встречаю, а уже ночь наступает темная да студеная. И ветер поднялся дюжий такой, настоящий степной русский ветер. Никогда такой древней не кажется земля, как при ночном ветре среди поля.
Набрел я на сенной сарай. Ветер был такой силы, что заснуть я никак не мог.
Слушал его и думал о русской земле. Думы мои о ней до того замучили, что я спасался лишь бессчетным повторением вслух от всего спасающей молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».
Среди ночи рядом со мною кто–то тяжело пошевелился. В шорохе этом что–то звериное было. Я громко вопросил:
— Кто здесь?
Никто не откликнулся.
Рано утром я осмотрел все углы сарая и никого не нашел. И посейчас вот размышляю: с кем я ночевал? С зверем ли лесным или с человеком, таящимся, как зверь?

* * *

В каждой почти деревне приходилось мне и ребят крестить, и венчать, и земле предавать. Всюду встречали меня с любовью, но и гонений и поношений было немало, но и они шли на пользу. Тоже творили чудо!
Был со мною такой случай.
В селе Горелово за устройство духовной беседы в лесу меня арестовали и посадили под замок. Поздно ночью приходит ко мне в темницу комиссар. Бравый этакий мужчина саженного роста. Был он пьянее вина. На ногах чуть держится. Еле володающим языком приказал мне:
— Шагом марш за мною!
Привели меня в большую избу. Вся она полным полна, и все пьяные. На табуретке сидел гармонист. При виде меня он заиграл плясовую.
Комиссар сгреб меня пятерней за волосы, вытащил на середину избы и приказал:
— Пляши!
Пьяные что дети али звери… Я не стал противиться им и пустился в пляс… А когда кончил плясать, то сел на лавку и засмеялся. Вначале ничего смеялся, по–людски, но потом не выдержал и засмеялся с душевным содроганием, с плачем и выкриками… И никак этого смеха не мог удержать…
Когда успокоился немножко, то огляделся я вокруг и вижу: все стоят с опущенными головами и молчат… Есть что–то святое в задумчивости русского человека… Первым не выдержал молчания комиссар. Он это как охнет да воскличет! Гляжу… бух! падает мне в ноги:
— Прости меня, Божий человек!
Мы подняли его. Усадили за стол. Я рядом с ним сел. Поуспокоились немножко. Поставили самовар. Стали меня потчевать. И вот кто–то из них и говорит мне:
— Расскажи что–нибудь душевное… только не про нашу жизнь и не про нашу землю… Если Божьего слова недостойны, то расскажи хоть сказку!..
Долго, до петушиных вскликов, беседовал с ними. Слушали меня с опущенными головами и вздохами.
На прощание сказал мне:
— Иди своею дорогой, батюшка! Не поминай нас лихом… Мы это… ну… одним словом… Ладно! Чего уж там говорить!..

* * *

Большой крест греха лежит на русском человеке…
Во время ночлега моего в одной избе был я самовидцем дикого мужицкого разгула. Пять человек красноармейцев вместе с хозяином — рыбаком Семеном и горбатым сыном его Петрухой глушило самогон. По совести говоря, мне бы уйти отсюда надо, но я остался. В русском разгуле всегда есть что–то грустное, несмотря на видимое безобразие его и содомство,

и в разгуле этом чаще всего душа раскрывается… Почем знать, — раздумывал я, — может быть, понадоблюсь! Бывают же в жизни русского разгульника «смертные часы», когда он не знает, что со своею душою делать. В такие минуты ему утешитель надобен!
Красноармейцы — русские ржаные парни, широколицые да курносые. Когда трезвыми были они, то я любовался ими и думал:
— Хлеб бы им сейчас молотить, снопы возить, по деревенскому хозяйству справляться…
Слова у них жесткие, с выплевками, с матерщиной. Завидев меня в уголке, с каким–то злым харканьем спросили:
— Кто такой?
За меня ответил Семен: бродячий–де сапожник!
— А ну–ка почини мне сапоги! — сказал один из них.
Снял он исхоженные вдрызг сапожонки свои и мне в угол бросил:
— Уплачу! Не бойсь! — прибавил он.
Я сапоги чинить стал, а они к столу присаживаются. Бутылки вынимают. Стали и меня потчевать.
Пригубил я для видимости и сказал:
— Больше, ребята, не угощайте. Сердцем слаб!
Перепились эти молодцы самогону и стали похваляться геройством своим. Много всяких страшных былей они порассказали, но один рассказ потряс меня до смертного окоченения. Рассказывал его крикливым, с провизгом, голосом маленький мозглявый паренек с рыжими кочковатыми бровями:
— Это еще что! — начал он. — У нас дело почище было! Во снах такое не причудится!
При этом он подмигнул сидящему напротив парню с жирными, пропитанными пылью морщинами на широком волосатом лбу:
— Помнишь, как самогоном причащали?
— Ты бы лучше помалкивал бы… — нахмурился другой.
— Не могу! Уж больно это у нас оглушительно получилось!..
— Не рассказывай!.. — хрипнул волосатый.
Расходившийся парень не захотел молчать:
— Дело недавно было. Приехали мы в одно большое село. Там церковь, но заколоченная. Священника, сказывали, на костре как борова опалили… а потом горящую головню в хайло ему запихали…
Да, пустая церковь–то… Слушайте дальше… Это только присказка…
Командиром нашим был Павел Никодимыч Вознесенский… Голова и краснобай! Когда–то в духовной семинарии обучался… На священника, видишь ли, пер!.. Вот однажды, во время самого ненасытного пьянства нашего, поднимается Павел Вознесенский и во весь широкий голос свой объявляет:
— Товарищи! Хотите, штуку разыграю над деревенскими дураками? — а сам это по–волчьи зубы скалит, и огонь в глазах этакий у него… погибельный!..
— И для ча ты рассказываешь, туз бубновый? — опять перебил его волосатый, приходя в гневное волнение.
— Помалкивай!.. Так–с. Хотите, говорит, штуку разыграю? Мы, конечно, спрашиваем:
— Каку таку штуку, Павел Никодимыч?
— А вот какую! — грохнул он по столу кулачищем. — Завтра обедню служить в церкви буду и народ причащать… самогоном!..
Мы это немножко побледнели и дрогнули, ну а потом, разошедши… все стало нипочем! Одним словом, «леригия опиум» и тому подобное… Чего уж там!.. Плевать с высокого дерева!..
На другой день, часиков это около десяти, один из наших в колокол ударил… Село–то ка–ак всколыхнется — звонят–де! Дивуются. Что такое? Мы объявляем, что–де власть, идя навстречу народу, разрешила Бога и даже попа прислала… Пошло в народе ликование. Валом повалили в церковь… Плачут от радости… Иконы в церкви целуют, цветами их украшают… Пыль с них

смахивают…
Павел Никодимыч в ризы облачился, все как есть, по чину… Хор собрали из знающих… Старый дьячок припер…
Обедня у нас идет такая, что все в церкви ревмя ревут…
Волосатый парень, все время бросавший на рассказчика гневные взгляды, вдруг не выдержал, задрожал, побледнел и надсадно крикнул:
— Замолчи, сволочь!..
Прокричав эти слова, он обессилел как–то, повалился на скамью и сразу же захрапел пьяным, всхлипывающим сном.
Наступило маленькое перетишье.
— Ну, и что же, причастил? — косясь на спящего, шепотом спросил горбатый.
— Да, причастил…
Парень уж стал говорить тише и, видимо, с душевным смятением, стараясь побороть его лихостью глаз.
— Вот это, причастивши–то… выходит Вознесенский говорить проповедь… Господи Иисусе!.. Что было–то!.. Стал он крыть по матушке и Господа, и Матерь Его, и всех святых… Я от страха и дрожи стоять не мог… Так и пригнуло меня к полу… А народ–то!.. Господи! Что с народом–то стало!..
Тут парень призакрыл глаза, съежился и несколько раз вытер со лба пот рукавом шинели. Лицо его задергалось, зубы застучали, и руки заходили ходуном…
— Ежели не можешь, то не рассказывай… — посоветовал рыбак, тоже не зная, куда девать себя от волнения.
— Нет, надо досказать! — заупрямился парень, приходя в полубезумный раж. — Не могу не досказать!.. На чем это я остановился? Да! Народ это… Видали, как ураган крыши срывает да горы сокрушает?.. Так вот и народ!.. Ка–ак это бросился он на Вознесенского!.. Подмяли под себя да с хрипом, воем, ревом почали его сапогами, да кулаками, да подсвечниками по черепу, по груди да по всему хрусткому… до самого мозга, до внутренности… до кишок этих! Все иконы мозгами да кровью забрызгали!..
Парень охнул, закачался со стороны на сторону и попросил воды.
— Ну а потом что? — с неумолимой жестокостью допытывался горбатый, став как бы безумным от страха и любопытства.
— Мало тебе, горбатому черту, рассказали? — накинулись на него остальные, сидевшие до сего времени как бы неживые.
— Потом что? — взяв опять крикливый тон, заговорил парень. — Вызвали пулеметную команду да по народу… тра–та–та–та… За бунт и возмущение против власти!.. Душ пятьдесят, не считая раненых… в расход вывели…
Пить никто не хотел. Они долго сидели нахмуренными, а потом все стали расходиться.
Сапог я не мог починить. Мое сознание держалось на тонкой паутинке. Колыхнись она немножко, и я стал бы безумным.

* * *

Иду берегом Волги, по древней Тверской дороге. Осень не витает уж легкой солнечной паутиной, а исходит ветрами и неуемными дождями. Ноги мои вязнут в грязи. Руки и лицо мое леденит колючий предзимник. Земля потемнела. Идти тяжело. Никакого жилья не видно. Стала донимать меня слабость. Кружилась голова, и подкашивались ноги. Старался приободрить себя и трунил над собою: «Что же это ты, отец Афанасий, сдаешь? А ну–ка, ну–ка, с ветром в ногу… встряхнись… поспешай!.. раз, два, три!..»
Но как не ободрял себя, пришлось мне сесть на придорожный камень и забыться…
Долго ли я был в забытьи — не ведаю, но только почувствовал: кто–то поднимает меня и сажает на телегу. Помню, что вся земля закружилась перед глазами, словно граммофонная пластинка. В тягостном, черном бреду я все время видел, как комиссар Вознесенский причащал народ

самогоном, и как будто бы вместе с разъяренным народом я бил его чем–то холодно–тяжелым по всему хрусткому, а потом прятался в каких–то черных садах и тосковал и плакал о преступленнии своем… Но больше всего меня мучило бесчисленное количество белых сверкающих рук, старавшихся сорвать с груди моей священный антиминс…
Больше двух месяцев находился я между жизнью и смертью.
Сидел на полатях, рассматривал руки свои, и мне жалостно было смотреть на них — желтые и ломкие, как свечи в морозном храме… И думал о себе, покивая главою: слабый все же я человек!.. Не могу закалить себя, вооружиться крепостью и мужеством… Если бы не рассказ о причащении самогоном, может быть, ничего и не случилось бы… Слишком это страшно было, слишком не по силам мне, немощному!
Меня, оказалось, подобрали на дороге неподалеку от села местные крестьяне. Сам хозяин — нестарый чернобородый мужик с иконными глазами и жена его — маленькая исхудавшая женщина с испуганным взглядом (взгляд большинства русских женщин в наши дни). Черно и бедно было в избе. Обхаживали они меня, как сына родного, и ночами не спали. Когда я поправился немножко, то хозяева подошли ко мне под благословение. В удивлении спросил их:
— Откуда вы знаете, что я священник?
— Из твоего бреда узнали!..
Ввиду наступающих холодов упросили меня у них пока остаться. Однажды говорит мне хозяин:
— Отслужи ты нам Божию службу! Утешь страждущих. В церкви–то нельзя, народный дом там, а мы уж в овин соберемся. Все у нас будет в молчании…
Ночью привели меня в темный, дымом да копотью пахнувший овин на глухих задворках. При свете свечей приметил я, что все здесь было прибрано и вычищено. На столе, покрытом скатертью, стояли иконы и перед ними три лампады. Человек двадцать пришло на молитву. Отслужил я им всенощное бдение, а потом беседовал с ними. По привычке своей всем в глаза смотрел. Хороши русские глаза на молитве! Мироотречение в них и образ Божий…
Окреп я немножко, исполнил дело свое, распрощался и тронулся дальше.

* * *

Земля пахла морозом, но снега еще не было. От вечернего морозного зарева небо и земля казались медными. И тишина была, словно отлитая из меди, ударить по ней — и зазвучит. Деревня, часовня на горе, черные бревенчатые бани, похожие на Гостомыслову Русь, запах дыма.
У околицы стояла маленькая сгорбленная женщина в тулупе, черном монашеском платке, в тяжелых деревенских сапогах. Она облокотилась на березовую изгородь и смотрела на большую дорогу.
Я подошел к ней и окликнул ее приветствием.
Она вскинула на меня странные, болью какой–то пронзенные глаза свои и улыбнулась неживой улыбкой.
— Ты оттуда? — показала она озябшей рукою на пройденную мною дорогу.
— Да. К вам в деревню иду!
— Так–так… А ты деток моих не встретил?
— Нет, никого не видел.
Она приложила руку к щеке и по–бабьи запечалилась:
— Жду их, пожду, а они не приходят!
— Куда же они пошли?
— Воевать пошли с белыми!.. Люди сказывают, что они убиты, а я не верю. Врут люди!
Подула на свои окоченевшие пальцы и стала смотреть на дорогу.
— Должны придти, — шептала она, смотря вдаль, поверх дороги, — я ведь старая и скоро помереть должна… да и голодно мне и зябко… Куда это они запропастились, баловники этакие?
Завидев кого–то вдали, она исступленно–радостно вскрикнула, сорвалась с места и побежала

навстречу, вскидывая вперед озябшие руки.
— Идут, идут! — кричала она. — Детки мои! Родненькие!..
В деревне мне рассказали, что женщина эта помутилась в разуме, когда узнала о расстреле своих сыновей. С этого времени во всякую погоду она выходит за околицу встречать их и каждого встречного спрашивает:
— Не видали ли вы деток моих?

* * *

В морозно-солнечный день я направлялся навестить один тайный монастырь. На лесной дороге встречаю трех стариков. В тулупах, бородатые, с котомками через плечо, с лесинами в руках, в валенках. Я спросил их:
— Куда Бог несет?
Не отвечая сразу на вопрос, приземистый, с желтым стариковским взглядом путник обратился ко мне:
— Не из священников ли будешь, желанный?
Я ответил утвердительно. Вопросивший меня обрадовался и с тихим довольством посмотрел на спутников.
— А ведь угадал я, старики? Говорил же вам, что это батюшка! Я, желанный, — улыбнулся мне зазябшим лицом, — издали признал, что ты из духовных! Пословица-то не зря молвится: попа и в рогожке спознаешь!
Подошли ко мне под благословение и стали рассказывать:
— Мы, батюшка, в Москву идем!.. О Боге хлопотать!
— Как так?
— Да так, чтобы это Бога нам разрешили и всякие гонения воспретили... А то беда!
Говорят спокойно, по-крестьянски кругло, и только в глазах их как бы блуждание и муть.
— Шибко стали Бога поноситъ! — сказал сгорбленный старик, опираясь двумя руками на посох в страннической покорности. — Жалко нам Его... Терпеть невозможно!..
— Ведь до чего дошло?! — перебил его другой, с косыми глазами и впалыми забуревшими щеками. — Миколаха Жердь из нашего посада анкубатор для выводки цыплят сделал... из дедовских икон! Говорит Миколаха, что они, иконы-то, подходящие для этого, так как толстые, вершковые, а главное — дерево сухое!..
— А внук мой Пашка из икон покрышку сделал в своем нужнике... — задыхаясь, прошамкал беззубый тихий старик, весь содрогнувшись.
Спрашиваю их:
— Кому же вы жаловаться будете в Москве?
— Как кому? Ленину! Ильичу то исть!..
— Да он помер...
— Это мы слышали, но только не верим! Нам сказывали, что он грамоту такую объявил, чтобы не трогать больше Бога...
Я чуть не заплакал.
Застывшая в глазах моих боль заставила стариков на время задуматься. Что-то поняли они. Растерянно взглянули друг на друга и на меня посмотрели.
— Ну а ежели не найдем Ленина, так к самому патриарху пойдем, — заявил желтоглазый старик. — Пусть он рассудит и анафемой безбожникам пригрозит... Патриаршая-то анафема дело не шуточное... Убоятся!..
— И святейшего патриарха нет в живых!..
Они не удивились, сняли шапки и перекрестились, сказав шепотом: «Царство ему Небесное!»
Глаза стариков гуще налились мутью.
— А Калинин-староста жив? Ну так мы к нему пойдем... Он нас приветит!
Вначале тихо, а потом все горячее и горячее я стал убеждать их не делать этого, вернуться к себе, терпением препоясаться и ждать Божиего суда.

— Не можем! — с земляным упорством заявили они и даже рассердились не меня.
— Сто верст пешком прошли! — взвизгнул один из них. — Сам Господь идет с нами рядышком… а ты… вернуться!
— На смерть идете! — сказал я в отчаянности.
Только улыбнулись тихо так: «что нам смерть!», поклонились мне и пошли вперед степенным деревенским шагом. Долго слушал я хрустень морозного снега под их валенками.

* * *
Я проходил мимо осквернённых храмов, сожженных часовен, монастырей, превращенных в казармы и торговые склады, был свидетелем надругательства над мощами и чудотворными иконами, соприкасался со звериным ликом человека, видел священников, ради страха отрекавшихся от Христа… Был избиваем и гоним не раз, но Господь помог мне все претерпеть и не впасть в уныние. Да разве могу я ослабнуть духом, когда вижу я… сотни пастырей идут с котомками и посохами по звериным тропам обширного российского прихода. Среди них были даже и епископы, принявшие на себя иго апостольского странничества… Все они прошли через поношение, заключения, голод, зной и ледяной ветер. У всех были грубые обветренные лица, мозолистые руки, рваная одежда, изношенная обувь, но в глазах и в голосе сияние неизреченной славы Божией, непоколебимость веры, готовность все принять и все благословить…
При встрече кланялись земно друг другу, обнимались, тихо беседовали среди поля или леса. На прощание крестили друг друга и расходились по разным дорогам…
Молился я в потаенных монастырях, где подвизались иноки из бывших отрицателей и поносителей имени Божиего.
Видел иноков в миру, всегда готовых поделиться Богом с неимущими Его и тоскующими по Нему. Был очевидцем великого раскаяния русского человека, когда он со слезами падал в дорожную пыль и у каждого встречного просил прощения.
Видел власть имущих, которые в особой ладонке носили на груди частицу иконы или маленький образок и потихоньку, яко Никодим в нощи, приходили ко мне за утешением.
Знаю одного из них, который хранит в чулане иконы отцов своих и в моменты душевного затемнения затепляет перед ними лампаду и молится…
Видел запуганных отцов, заявлявших мне: сами–то мы безбожники, а детей наших выучи закону Божиему, чтобы они хулиганами не стали… И в большой тайне у многих из этих отцов я учил детей их… Слышал и новые народные сказания о грядущем Христовом Царстве, о пришествии на землю Сергия Радонежского и Серафима Саровского, о Матери Божией, умолившей спасение русской земле.
Не одну сотню исповедей выслушал я (и страшные были эти исповеди), и все кающиеся готовы были принять самую тяжкую епитимию и любой подвиг, чтобы не остаться вне чертога Господня.
Вся русская земля истосковалась по Благом Утешителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все чают Христова утешения.
Я иду к ним, пока сил хватит, и крепко еще обнимает рука мой дорожный посох.

Пушкин и митрополит Филарет

В Николин день 1828 года митрополит Филарет окончательно решил уйти на покой.
Он сел за письменный стол, взял большой лист плотной голубой бумаги, осмотрел гусиное перо, перекрестился и стал писать:
«Всемилостивейший Государь!
Священный долг служить Вашему Императорскому Величеству верою и правдою особенно

вожделенным для меня делает благодарность к милостям и благодеяниям Вашего Императорского Величества, неизреченно для меня великим…»
Тут он остановился и задумался:
— Да, тяжело мы пишем… Тяжело — Пушкин учит, как писать, да не слушаемся… Да… Пушкин… Александр Сергеевич… Упрямые и жестоковыйные мы люди!
Митрополит опять заскрипел гусиным пером:
«Но, при сознании внутренних моих недостатков, немощь телесная, в течение немалого времени едва преодолеваемая принужденными усилиями, наконец, отнимает у меня надежду соответствовать обязанностям вверенного мне служения…»
— Я устал! От всего я устал! — сказал он вслух, не отрываясь от письма. — С душою некогда побеседовать!
«Посему приемлю дерзновение Ваше Императорское Величество всеподданнейше просить об увольнении меня от управления вверенной мне епархиею и дозволить избрать жительство в одном из монастырей…»
— Да, тяжелый язык, тяжелый! — опять подумал митрополит, скрепляя прошение подписью:
«Вашего Императорского Величества верноподданный, митрополит Московский и Коломенский Филарет».
— Завтра отправлю по назначению. Буду ждать Высочайшей резолюции!

* * *
На другой день И.В. Киреевский послал митрополиту на прочтение новое стихотворение Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?..

Перед духовными очами митрополита предстала душа великого поэта. До содрогания стало жалко его, потерявшего самое драгоценное в жизни, — веру в жизнь и в свое на земле призвание. В митрополите заговорил вдруг пастырь, призванный спасать человека. Все, что его тяготило и мучало за это время, уступило место ясному и глубокому сознанию своих задач и высокой своей посвященности…
— нельзя же так, Александр Сергеевич! — подумал он тепло и нежно. Такая сила тебе дадена и вдруг взываешь ты в тоске: «Дар напрасный, дар случайный…» Всем нам тяжело, Александр Сергеевич…
Во время вечерних, на сон грядущий, молитв митрополит опять вспомнил стихотворение Пушкина.
Он положил земной поклон.
— Мир и успокоение подаждь душе раба Твоего Александра, ибо нужен он народу нашему… Во тьме ходящему!
И когда произнес эти слова, что–то яркое вспыхнуло в душе его. Он не мог больше молиться. Не закончив «вечернего правила», он поднялся с колен, зажег свечу, взял перо и быстро стал писать:

Не напрасно, не случайно
Жизнь судьбою мне дана;
Не без правды ею тайно
На тоску осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из тайных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждутся Тобою
Сердце чисто, светел ум.

— Будь что будет! — сказал он. — Но эти строки пошлю Пушкину, как ответ на его горькие слова.
Тут он взглянул на конверт, адресованный Государю Императору.
— Нет, нельзя мне покидать кафедры ради безмолвного монастыря, — решил он, — надо потрудиться! Ради тех великих и малых потрудиться, кои томятся тоскою и сомнениями в присномутном житии нашем! Подвиг надо восприять! Кто же утешит? Кто спасет?

+ + +

Филарета долго томила мысль: дошел ли ночной его голос до сердца поэта?
И вот однажды получает он строки, написанные рукою самого Александра Сергеевича Пушкина:

…И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

— Слава Тебе, Христе Свете Истинный, — перекрестился митрополит, — что пробудил малым, неискусным моим словом душу великого поэта!
И поцеловал пушкинские строки.